(Окончание. Начало на стр. 11).

Надо отдать должное всем четверым: эта лестная оценка только прибавила им требовательности к самим себе. Обратная связь, несомненно, была много сильнее. Особенно сильно присутствие Ахматовой в поэтике Бродского. Часто стихи его не посвящены ей формально, как знаменитое «Сретение» (День ангела Анны Ахматовой приходился на Сретение) или — «Пророчество» («Мы будем жить с тобой на берегу»...), где есть такие строки:

*И если мы произведем
дитя,
то назовем Андреем или
Анной,
чтоб, к сморщенному
личику привит,
не позабыт был русский
алфавит...*

Вряд ли это была случайность: Бродский всегда очень аккуратен со словом. Скорее — попытка мистифицировать читателя, который, не видя прямого посвящения, может и не вспомнить, что Ахматову звали Анной Андреевной. Или — глубоко спрятанное объяснение в любви, ибо все они были влюблены в нее — в большей или меньшей степени. В ее царственную манеру поведения, напоминавшую о временах, безвозвратно миновавших и потому — неповторимо прекрасных. В образ, вобравший в себя всех мандельштамовских «европейско-нежных». В портреты Альтмана и ее роман с Модильяни, о котором Бродский говорил:

«Ну, Анна Андреевна, это — «Ромео и Джульетта» в исполнении особ царствующего дома».

Они забывали о возрасте своей Прекрасной Дамы и в стихах, обращенных к ней, властью своего поэтического воображения возвращали ей молодость:

*...Вы поднимите
прекрасное лицо...*
(Иосиф Бродский)

*...Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда...*

*...Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.*
(Александр Кушнер)

*...Когда я вижу освещенный
снег,
Я Ваше имя вспоминаю
сразу.*
(Евгений Рейн)

Эта влюбленность была, кажется, вполне подсознательной. На грани мечты. Гораздо важнее для молодых ленинградских поэтов был ее несомненный профессиональный авторитет, и об этом хорошо говорит Александр Кушнер: «Для нас, начинающих свой путь тогда, когда она его уже заканчивала, просто ее присутствие в жизни было чрезвычайно важно. «Литературные генералы» были для нас не страшны, они нам были смешны. Мы знали, что рядом живет Анна Андреевна. И, знаете, такое чувство у меня и сегодня».

Анна Андреевна жила рядом, она была строгим судьей их труда, других и не надобно было.

В день, когда Анне Ахматовой исполнилось 100 лет, судьбе было угодно свести меня за столом с Александром Кушнером, Евгением Рейном и Беллой Ахмадулиной. Шел фестиваль поэзии в Голландии, пейзаж за окном чуть-чуть напоминал Петербург, и Рейн, сдерживая свой

могучий голос, неторопливо говорил: «Она была великим и добрым человеком, но до определенной границы. В узком кругу она могла быть очень грозна, даже мстительна. «О не прости не единой нарочной обиды»... — это ее уроки. Она говорила: «Величайшая мудрость человечества в английской поговорке: «Джентльмен никого не обижает нечаянно»».

Поражает, по свидетельству очевидцев, поистине королевская доброта Ахматовой к молодым поэтам, которые несли ей свои стихи, ее мудрость и мягкость. У Натальи Горбаневской, к примеру, ей понравилась всего одна строфа. И этого было достаточно для горячей, искренней похвалы ее стихам. Подобная щедрость свойственна лишь большим поэтам.

Но не желая никого обидеть нечаянно, к профессионалам она была, несомненно, гораздо строже, чем к попадавшим в ее дом начинающим стихотворцам. И Борис Пастернак, сообщивший ей в разговоре, что в свой новый сборник он решил включить еще 15 стихотворений («Видите ли, Анна Андреевна, мне неожиданно понадобились параллельные деньги»), получил немедленный, убийственный ответ: «Какое счастье для русской поэзии, Борис Леонидович, что Вам понадобились параллельные деньги!» И это не означало вовсе, что Ахматова не ценила поэзии Пастернака. Она всего лишь полагала: по таланту и спрос. Лучшими, наравне с Пастернаком, она считала Арсения Тарковского, Кушнера, Давида Самойлова, Семена Липкина. А из «волшебного хора» особо выделяла Бродского и Рейна.

Для Бродского, по его собственному признанию, чисто человеческое общение с Ахматовой значило очень много. Возможно, оно было даже важнее, чем общение профессиональное. Будучи в известной степени пророком, как всякий большой поэт, Бродский мог провидеть свою трагическую судьбу, в чем-то повторившую судьбу Ахматовой. Он мог неосознанно примерять к себе чужую Голгофу, которую все они в те годы ощущали неотъемлемой принадлежностью настоящего русского поэта. Мог гадать: сможет ли сам он пронести свой крест до конца? Путь предстоял неблизкий: сперва — до забытой Богом архангельской деревушки, а потом — до Нью-Йорка и Стокгольма. И, может быть, последний этап оказался труднее первого. Самое страшное для поэта искушение — искушение всемирной славой — переживает он сегодня. И сам очень остро это ощущает. Свою Нобелевскую лекцию Бродский начал словами о том, что чувствует себя неловко: приходится выступать с трибуны, на которую никогда не поднимались и никогда уже не поднимутся Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уистен Оден, — по его мнению — более достойные подобной чести. «Эти тени смущают меня постоянно... В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой — но всегда меньше, чем любая из них в отдельности... не будь их, как человек и как писатель я бы стоил немного...»

Она жила в душе поэта — величественная тень, подарившая ему и его друзьям вычеркнутое из истории прошлое: «не потому, что мы стихи ее помним или сами пишем, а потому, что она стала частью нас, частью наших душ, если угодно. Я часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне, наблюдает как бы свыше: как она это делала при жизни... Не столько наблюдает, сколько хранит».